

Владимир Маяковский Облако в штанах

Тетраптих

Кто вдохновил Маяковского на «Облако в штанах»?

Представим вагон поезда Одесса — Москва, мчащийся сквозь январскую ночь 1914 года. Молодой Маяковский под стук колес записывает строки будущей поэмы «Облако в штанах»:

«...Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе,
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять...»

Харьковские мифы и легенды о Маяковском

Имя Маяковского, весь его модернистский, железобетонный хрестоматийный образ как нельзя лучше подходил к облику нашего города в двадцатые годы прошлого столетия. Легенды и различные байки о Владимире Маяковском в Харькове живы настолько, как если бы поэт приезжал к нам на прошлой неделе.

В некоторых харьковских исторических справочниках можно встретить рассказы, которые даже собраны в отдельную главу: легенды нашего города. Чего там только не приписывают Владимиру Владимировичу. То ему, бедному, волею случая на голову падает мягкий знак из слова Харѣків в названии гостиницы, и с тех пор якобы Харьков навсегда потерял свое мягкое прочтение в украиноязычном варианте, то вдруг из любви к нашему городу поэт начал писать на украинском языке. Эти книги переиздаются, обрастают деталями и, наверное, сам поэт, узнав о себе много нового, посмеялся бы над нашими фантазиями.

Но есть в биографии такие строки, которые пишет сама судьба, и ни одно слово, ни один знак мы не вправе изменить. Одна такая история из жизни Маяковского — это история любви. Предметом восхищения юного поэта стала прекрасная харьковчанка.

Просто Мария

Мария Александровна Денисова родилась в 1894 году в Харьковской губернии. Ее родители были крестьянами. Первые годы Маши прошли в деревне. Соседи, глядя на удивительно красивую девчушку, называли ее ангелом. В семье, состоящей из девяти человек, она была младшим ребенком. Рано научилась читать и рисовать. Она всегда и во всем отличалась от всех.

Тяга к живописи ей передалась от отца, который в свободные часы любил рисовать, лепить, вырезать из дерева игрушки для детей. Однажды он подарил своей дочурке вырезанного из клена ангела на удачу. Чутким отцовским сердцем он чувствовал, что его

дочери уготована особенная судьба.

Мария была романтической и бесстрашной, а еще харьковчанка была действительно очень хороша собой. Девушка привыкла самостоятельно делать выбор в своей жизни. Она села в поезд, который уносил ее к Черному морю, в Одессу. В этом городе училась ее старшая сестра. Мария поступила в гимназию. Здесь же, в Одессе, она стала усиленно заниматься рисованием, живописью и скульптурой. Увлечлась стихами, не пропускала ни одного вечера поэзии. Была и на обоих выступлениях Владимира Маяковского в одесском театре — 16 и 19 января 1914 года.

Для любимой — «Облако в штанах»

Владимир Маяковский, человек мощной фактуры, но с нежным и ранимым сердцем, не мог не разглядеть в толпе поклонниц глаза прекрасной харьковчанки. Маяковский как мальчишка влюблен. Он пишет, потому что не может не писать:

«Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
Как поэт боится забыть
Какое-то
В муках ночей рожденное слово,
Величием равное Богу.
Тело твое
Я буду беречь и любить,
Как солдат,
Обрубленный войною,
Ненужный,
Ничей,
Бережет свою единственную ногу...»

Обожаемый миллионами поэт чувствует себя ненужным и одиноким без любви той единственной, кому он посвятил свою поэму «Облако в штанах».

Как сложилась дальнейшая судьба Марии?

После Октября она училась у скульптора С.Т. Коненкова, впрочем, недолго. Враг все ближе подходил к столице. И Мария уходит на фронт, попадает в Первую Конную армию. Работает художником-оформителем, пропагандистом. Три раза переболела тифом, трижды была ранена.

Немногословная, когда речь заходила о боевых делах, в перерывах между сражениями она любила петь, участвовала в любительских спектаклях.

Оборвалась жизнь Марии Александровны, когда ей исполнилось всего лишь пятьдесят, — в декабре 1944 года. Все тридцать лет — с первой встречи с Маяковским до последних дней — Мария Александровна Денисова сохранила самые нежные воспоминания о поэте и просила ни слова не прибавлять к этой прекрасной и грустной истории.

Облако в штанах

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
"Приду в четыре", — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского приборя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождейки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,

четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как "нате!",
муча перчатки замш,
сказала:
"Знаете —
я выхожу замуж".
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
"Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть", —
а я одно видел:
вы — Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
"Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий".
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители

святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую —
"я"
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Вискочу! Вискочу! Вискочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырост.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо

высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю "*nihil*"¹.
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликают,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица муку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые тахі и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чахотки плоче.
Город дорогу мраком запер.

¹ nihil (лат.) — ничто

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
"Идемте жрать!"
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
"сволочь"
и еще какое-то,
кажется, «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
"Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?"
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шаго саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
"Помоги мне!"
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,

златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеля,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заspanная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
"Распни,
распни его!"
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
"Хорошо!"
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,

крикнуть:
"Пейте какао Ван-Гутена!"
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
"изящно пляшу ли", —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
"цаца, цаца, цаца!"
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,

запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гуляющие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закишие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Уже сумашествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршню обгрызанных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеv.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть

и вижу:
в углу — глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
"удивительно честный".

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Мария!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Открой!
Больно!
Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Пустила.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —

это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
"любящие Маяковского!" —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь — тело твое просто прошу,
как просят христиане —
"хлеб наш насущный
даждь нам днесь".
Мария — дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища

достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914–1915